



*Стэнли Эдгару Хайману*



## 1. ЭЛИЗАБЕТ

Хотя музей считался в городе оплотом просвещения, фундамент его начал проседать, отчего у здания появился странный наклон к западу, до того заметный, что становилось не по себе, а у дочерей города, неустанно заимствовавших средства на содержание музея, — чувство бесконечного стыда и привычка винить друг друга. Кроме того, это весьма забавляло служащих музея — работу некоторых из них неумолимый наклон пола затронул самым непосредственным образом. Палеонтолог находил очень смешным то, что, накренившись, величественный скелет динозавра будто принял позу зародыша. Нумизмат, чьи экспонаты со звяканьем скатывались в кучу, отмечал, надоедая всем вокруг, что таким образом достигается классическое сопоставительное расположение. Орнитолог и астроном, в чьих областях и без того редко царило равновесие, заявляли, что перепад высот отразится на них, только если будет уклон, как на дороге, позволяющий свести на нет последствия хождения по неровному полу. Так или иначе, хождение для обоих было нехарактерным способом

перемещения: одного манил полет, другого — самодостаточное вращение небесных сфер. Высокочученого профессора археологии, который ходил по музейным коридорам, не замечая наклона, видели с надеждой разглядывающим просевший фундамент. Строитель и архитектор, а также сварливые дочери города пытались списать все на некачественные материалы и непомерную тяжесть некоторых древностей в собрании музея. В местной газете появилась передовица с критикой руководства, допустившего, чтобы обломки метеорита, коллекцию минералов и целый арсенал времен Гражданской войны, обнаруженный неподалеку от города и включавший две пушки, разместили в левом крыле здания. В статье справедливо отмечалось, что, если бы в левом крыле выставляли образцы знаменитых подписей и исторические костюмы, здание не просело бы, по крайней мере при жизни благодетелей музея. Поскольку местную газету, как все современное и недолговечное, не жаловали ниже третьего этажа музея, где располагалась канцелярия, экспозиции оставили на прежних местах. В канцелярии же каждый день читали комиксы и внимательно просматривали гороскоп на первой странице в надежде узнать, как они умрут. На третьем этаже были склонны к раздумьям и верили почти всему, что читали. В этом отношении они, конечно, мало чем отличались от образованных обитателей первого и второго этажей, которые проводили дни в окружении бесценных предметов из прошлого, иронизируя на тему распада.

Место Элизабет Ричмонд находилось на третьем этаже, в углу кабинета. Эта часть музея располагалась ближе всего к поверхности, если можно так выразиться. Отсюда осуществлялась связь с внешним миром, пресмыкающихся-ученых здесь не жаловали. Сидя за своим столом на верхнем этаже здания, в самом западном углу, Элизабет каждый день отвечала на письма с предложениями принять коллекцию гербариев или старинных морских сундуков, возвращенных в Америку из Китая. Доказательств того, что Элизабет вывел из равновесия наклон пола в кабинете, как и того, что здание начало проседать по вине Элизабет, нет, и все же никто не сомневается, что произошло и то и другое почти одновременно.

Первой мыслью всякого, кто имел отношение к музею, вплоть до палеонтолога, было не построить заново на другом месте, а починить, залатать, вернуть прежний вид. Для этого плотники сочли необходимым проделать в здании сквозную дыру, сломав одну стену на каждом этаже, и начали они с угла Элизабет. На втором этаже дыру скрывал саркофаг, на первом — не без оснований — небольшая дверца с надписью «НЕ ВХОДИТЬ». В канцелярии же закрыть ее оказалось нечем, поэтому, придя в понедельник утром на работу, Элизабет обнаружила, что стену рядом с ее столом, которой она, печатая на машинке, почти касалась левым локтем, снесли, обнажив скелет здания. В тот день Элизабет пришла первая. Аккуратно повесив пальто и шляпку на вешалку у двери, она прошла в свой угол и глянула в дыру — у девушки мгновенно закружилась

голова и возникло непреодолимое желание броситься вниз, в первобытные пески, на которых, по всей видимости, стоял музей. Далеко внизу, на первом этаже, она услышала голоса экскурсоводов, слабым эхом разносившиеся по зданию, — сегодня был день открытых дверей, и экскурсоводы слонялись без дела. Со второго этажа, судя по громкости, доносился чей-то недовольный голос — должно быть, археолог, стоя у саркофага, возмущался качеством воздуха. Элизабет, у которой болела голова, болела почти все время, вздохнула и повернулась к столу, где ждало письмо с предложением принять собранный из спичек макет небоскреба. К третьему письму легкое ощущение праздника, вызванное отсутствием в кабинете стены, почти полностью улетучилось. Прочтя письмо, Элизабет встала и снова заглянула в пролом, а затем вернулась на место с единственной мыслью — о больной голове.

*«милая лиззи твоей беззаботной жизни конец берегись меня берегись лиззи берегись меня и веди себя хорошо потому что я тебя поймаю и ты пожалеешь и не думай что я не узнаю лиззи потому что я знаю... гадкие мыслишки лиззи гадкая лиззи»*

Элизабет Ричмонд было двадцать три года. У нее не было родителей, не было друзей, не было ни одного близкого человека, а устремления ограничивались тем, чтобы прожить без особых мучений отпущенное ей время. С тех пор как четыре года назад умерла ее мать, Элизабет ни разу ни с кем не поговорила по душам, а тетя, у которой девушка жила,

много не требовала: лишь бы племянница отдавала ей часть недельного жалованья и вовремя спускалась к ужину. Хотя Элизабет приходила в музей каждый день на протяжении двух лет, за это время здесь ничего не изменилось. Корреспонденция, подписанная «Э.Р. по доверенности», и бесчисленные описи экспонатов, в конце которых стояло «Э. Ричмонд», были едва ли не единственными следами ее присутствия на работе. Полдюжины человек делили с ней кабинет и еще столько же работали в других помещениях на третьем этаже — все они знали Элизабет, здоровались с ней по утрам, а иной раз, когда утро выдавалось особенно солнечным, даже спрашивали, как у нее дела. Однако те, кто из желания помочь или просто по доброте душевной пытались узнать ее поближе, наталкивались на полное безразличие. Элизабет была настолько непримечательна, что даже не заслужила прозвища. Пока все вокруг, погруженные в изучение обломков и запыленных мелочей из мрачного прошлого или пустот в космосе, тщательно оберегали свою индивидуальность, она оставалась безымянным существом. К ней обращались «Элизабет» или «мисс Ричмонд», потому что так она представилась в первый день, и, возможно, упавши она в ту дыру, ее бы хватились, только заметив, что рядом с табличкой «Мисс Элизабет Ричмонд, неизвестный даритель, стоимость не установлена» нет экспоната.

Она выбрала работу в музее не потому, что испытывала тягу к знаниям или надеялась однажды возглавить подобное учреждение, — просто она, как



обычно плывя по течению, пришла в музей по совету тетиной подруги, и оказалось, что у них есть вакансия. Да и тетя весьма настойчиво предлагала попробовать свои силы: Элизабет нужно где-то работать, она ведь уже взрослая и может сама зарабатывать на жизнь. Тете казалось, что так у Элизабет, ничего из себя не представлявшей, будет хоть какая-то отличительная черта («моя племянница Элизабет, которая работает в музее»), но она предпочла не высказывать эту неприятную мысль. Итак, Элизабет, не строя никаких планов, отправилась в музей, и ее взяли, потому что для работы в канцелярии на третьем этаже не требовались яркие личности, а Элизабет, несмотря на недостатки, обладала разборчивым почерком, довольно быстро печатала на машинке и выполняла все, что бы ей ни поручили, если, конечно, понимала, что надо делать. Если Элизабет чем-то и гордилась, так это тем, как аккуратно она располагала вещи вокруг себя: все на своих местах и все на виду. Ее стол стоял ровно, и письма на нем были разложены словно по линейке. Каждое утро Элизабет садилась на один и тот же автобус, приходила на работу ровно во столько, во сколько ей велели приходить, вешала пальто и шляпку на положенное место. Она всегда носила темные платья с белыми воротничками — тетя считала, что так должны одеваться канцелярские служащие, — а когда наступало время идти домой, Элизабет шла домой.

Ни у кого в музее не возникло вопроса, не навредит ли Элизабет громадная дыра в кабинете, никто не сказал, задумчиво помахивая логарифмиче-

ской линейкой: «Смотрите-ка, а ведь пролом будет у мисс Ричмонд почти под самым левым локтем. А вдруг мисс Ричмонд расстроится, не обнаружив одной стены?»

В понедельник незадолго до полудня Элизабет вытащила письмо из ящика стола и положила в сумочку, чтобы перечитать его за обедом. Письмо не давало ей покоя все утро: оно, что было очень приятно, предназначалось лично Элизабет и совсем не походило на привычные ей послания. Взяв в кафетерии сэндвич, она перечитала письмо, изучая бумагу, почерк, построение фраз. Больше всего, пожалуй, ее будоражило неотступное чувство, будто она знает отправителя. Это чувство нельзя было назвать беспокойством — Элизабет просто не могла представить, что кто-то подобрал слова, взял ручку и лист бумаги, написал письмо и положил его в конверт с ее адресом. Разве такое мог сделать незнакомый человек? Проведя пальцем по неровным буквам, Элизабет улыбнулась. Она твердо знала, как поступит с письмом: отнесет его домой и уберет в коробку на верхней полке шкафа вместе с другим письмом.

Хотя сотрудники музея сами проводили большую часть времени, постукивая молотками, делая замеры и что-то починяя, все решили, что в рабочие часы каменщикам и плотникам в музее не место, поэтому, когда Элизабет в четыре пополудни, как обычно, выходила с работы, навстречу ей попались плотники. Никто в музее не обратил внимания, да и плотники почти не придали этому значения, но, проходя мимо

них в коридоре, Элизабет с улыбкой произнесла: «Привет». Она вышла на улицу, щурясь на солнце из-за головной боли, села в свой автобус и ехала, глядя в окно, а потом, сойдя там же, где всегда, шла полквартила пешком до тетиного дома. Элизабет открыла дверь, посмотрела, нет ли на столике в прихожей записки, заглянула в гостиную и поднялась в свою комнату, где аккуратно повесила в шкаф пальто и шляпку, переобулась из туфель в домашние тапочки и, подставив к шкафу стул, вытащила с верхней полки красную картонную коробку, в которой когда-то, на двенадцатый день рождения, ей подарили конфеты. Элизабет осторожно положила коробку на кровать и, вернув на место стул, устроилась рядом. Прежде чем открыть коробку, она достала из сумочки письмо, еще раз прочла его и убрала в конверт с неряшливой надписью *мисс элизабет ричмонд, музей оуэнстауна*. Затем извлекла из коробки другое письмо, куда более ветхое. Его семь лет назад написала мать Элизабет.

*«Робин, не пиши мне больше. Вчера застучала Бетси — она читала мои письма. Несносная девочка, и до чего смысленая! Напишу по возможности и, надеюсь, до встречи в сб. Мне пора. А.»*

Элизабет нашла это письмо, так и не отправленное, в столе у матери вскоре после ее смерти. До сих пор она прятала его в шкафу, а сегодня, еще раз внимательно прочтя оба письма, положила их в коробку. Взяв стул, убрала коробку в шкаф, вернула стул на место и пошла в ванную. Элизабет мыла руки, когда снизу раздался тетин голос:

— Элизабет? Ты дома?

— Я здесь.

— Сделать тебе какао? На улице похолодало.

— Хорошо. Я сейчас приду.

Элизабет медленно спустилась по лестнице, поцеловала тетю — она всегда целовала ее, придя домой, — и проследовала на кухню.

— Ну что ж, — решительно начала тетя. Она тяжело опустилась в кресло и сложила ладони, мужественно делая вид, что не замечает отбивных и хлеба с маслом. — Приступим.

Элизабет торопливо села, приготовилась к молитве и равнодушно взглянула на тетю.

— Господи, благослови пищу рабам Твоим, — сказала тетя Морген, едва племянница сложила руки для молитвы, и, добавив «аминь», тут же потянулась за отбивной. — Хорошо провела день?

— Как обычно, — ответила Элизабет.

Еда при любых обстоятельствах оставалась для тети Морген делом чрезвычайной важности, и беседа за столом лишь немного умеряла ее аппетит. Нашлась бы от силы пара тем, способных отвлечь тетю Морген от тарелки, и Элизабет за все время так и не удалось затронуть ни одну из них. Ужин тетя приготовила исключительно по своему вкусу, впрочем, стоило отдать ей должное: отбивных, вареного картофеля, хлеба и пикулей племяннице предназначалось ровно столько, сколько ей самой. Разговор тоже делился поровну.

— А ты — хорошо провела день? — спросила Элизабет тетю Морген.

— Так себе. Дождь.

Хотя про таких, как тетя Морген, обычно говорят «мужеподобная», если бы она на самом деле была мужчиной, то являла бы собой весьма нелепое зрелище: среднего роста, с нескладной фигурой, безвольным подбородком и бегающими глазками. Но так уж вышло, что родилась она женщиной и с юных лет поневоле — о, злая, несправедливая судьба, наделившая красотой ее родную сестру, — вжилась в образ грубой, громогласной особы, про коих говорят «мужеподобная». Она держалась развязно, громко разговаривала, любила поесть, выпить и, как она сама заявляла, провести время в мужском обществе. К племяннице, во всем соблюдавшей умеренность, она относилась с покровительственным радушием, а среди немногих друзей слыла бесстрашной особой, так как предпочитала говорить правду, даже самую неприятную, а еще обладала обширными познаниями в бейсболе. Тетя Морген достигла возраста, в котором пресловутый образ уже не тяготил ее, как, скажем, в двадцать лет, и даже испытывала некоторое самодовольство, видя, что хорошенькие сверстницы превратились в угрюмых, невзрачных старух, краснеющих от ее слов. Она никогда не сожалела о том, что после смерти сестры взяла на себя заботу о серой мышке Элизабет, поскольку та была тихой и незаметной и не имела обыкновения перебивать тетю во время вечерней беседы, которая всегда имела место между ужином и отходом ко сну. По утрам, прежде чем племянница уходила на работу, тетя Морген спрашивалась о ее здоровье и время от времени советовала обуть галоши. Тихие часы перед ужином, когда тетя

Морген готовила, потягивая шерри, а Элизабет, как сегодня, поднималась к себе, не предназначались для общения. Когда приходило время накрывать на стол и садиться ужинать, тете Морген было не до болтовни. А после еды она любила пропустить бокальчик — а порой и не один — бренди, и вот тогда, развалившись в кресле с чашкой кофе и сигаретой, пока Элизабет сидела над остывающим какао, тетя Морген выдавала все, что накопилось за день.

— Научилась бы ты пить кофе, — как обычно, сказала она. — Я бы дала тебе к нему немного бренди.

— Спасибо, я не люблю бренди. Меня от него мутит.

— Это потому, что ты мешаешь его с какао. — Тетя Морген поежилась. — Какао. Какао. Жалкая бурда, им бы только котят да неумытых мальчишек поить. Разве Шекспир пил какао?

— Не знаю.

— А должна знать, ты ведь работаешь в музее. Это я просиживаю штаны дома и живу на свои кровные денежки. — Она улыбнулась и церемонно кивнула Элизабет. — Вернее, на денежки твоей матери. Мои они по чистой случайности, только благодаря образцовому терпению и блестящему уму. Только потому, — с наслаждением добавила тетя Морген, — что я ее пережила. Кстати, если бы я ее убила, — рассуждала она, размахивая сигаретой, — меня бы поймали. И я бы не получила деньги, потому что сидела бы за убийство. Ты не думай, я не раз прокручивала это в голове — точно поймали бы. В конце концов, не настолько я умна, детка.